

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения

# MONGOLICA-VII

посвящается 100-летию со дня рождения Д. Нацагдорджа  
(монг. Д. Нацагдорж)

*Составитель И. В. Кульганек*



St. Petersburg  
2007

УДК 951.93  
ББК ТЗ(5Мо)

Редакционная коллегия:  
*И. В. Кульганек* (председатель), *Л. Г. Скородумова*, *Н. С. Яхонтова*

***Проект реализован при финансовой поддержке Правительства Санкт-Петербурга***

**Монголика-VII:** Сб. ст. — СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007. — 144 с.

Сборник посвящен 100-летию со дня рождения Дашдоржийна Нацагдорджа (монг. Дашдоржийн Нацагдорж) (1906—1937) — выдающегося монгольского поэта, драматурга, писателя, переводчика, общественного деятеля, одного из самых образованных людей Монголии своего времени. Значение творчества Д. Нацагдорджа для культуры Монголии неосценимо. Его по праву можно назвать основоположником новой национальной реалистической литературы, воедино связавшим в своем творчестве фольклорные традиции и авторское литературное новаторство.

Основными авторами сборника являются преимущественно ученые петербургской школы, хотя многие из них работают в настоящее время, помимо Санкт-Петербурга, в научных центрах Москвы, Бурятии, Калмыкии, где сосредоточена отечественная монголистика.

Статьи написаны в русле основных научных приоритетов и с позиций современного монголоведения, для которого историко-культурные проблемы монгольязычных народов существенны, несут важную общественную нагрузку и имеют как чисто научное, так и общеисторическое практическое значение.

«Монголика-VII» имеет 7 разделов — «Литературоведение и фольклористика», «Историография и источниковедение», «Научные архивы востоковедов», «Наши переводы», «Новости научной жизни», «Рецензии», мемориальная часть сборника посвящена научному и художественному наследию Д. Нацагдорджа.

Сборник статей рассчитан на специалистов-монголоведов, историков науки, культурологов и всех, интересующихся историей России и Центральной Азии.

**Перепечатка данного издания, а равно отдельных его частей запрещена. Любое использование материалов данного издания возможно исключительно с письменного разрешения издательства.**

**No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval systems or transmitted in any form or by any means: electronic, magnetic tape, mechanical, photocopying, recording or otherwise without permission in writing form of the publishing house.**

ISBN 978-5-85803-360-8



9 785858 033608

© Петербургское Востоковедение, 2007

© Санкт-Петербургский филиал Института востоковедения РАН



Зарегистрированная торговая марка

## Содержание

Предисловие	.....	5
К. Н. Яцковская	Из рода «хранителей тайны огня»	10
Л. К. Герасимович	Еще раз о рассказе Д. Нацагдорджа «Слезы ламы»	20
Л. Г. Скородумова	Мифопоэтическая концепция в творчестве Д. Нацагдоржа (Опыт реконструкции текста)	23
Л. С. Дампилова	Д. Нацагдордж и современная монголоязычная поэзия	32
<b>Литературоведение, фольклористика</b>		
М. П. Петрова	Поэтика постмодернизма в романе Г. Аюрзаны «Долг в десять снов»	35
Б. С. Дугаров	Образ Хормусты в монгольской эпической традиции	37
К. А. Эдлеева	Жанрово-композиционное своеобразие магтала	41
Д. А. Николаева	Генезис мифоритуальных аспектов кругового танца «ёхор» у западных бурят	46
Д. Нансалма	Одежда монголов	54
<b>Историография и источниковедение</b>		
Е. И. Кычанов	Отголоски сюжета об «избиении младенцев» в рассказах о предках Чингис-хана	57
Н. А. Лифанов	Род Тайчжиуд и начало монгольской государственности	59
А. Г. Юрченко	Кумысная церемония при дворе Бату-хана	62
Ю. И. Дробышев	Экологические сюжеты в средневековом монгольском законодательстве	71
В. Л. Успенский	Монгольские рукописи и ксилографы, поступившие в Санкт-Петербургский университет от А. В. Попова	83
<b>Научные архивы востоковедов</b>		
	Из воспоминаний М. И. Клягиной-Кондратьевой	87
	Письма А. Д. Симукова к П. К. Козлову и Е. В. Козловой	102
<b>Наши переводы</b>		
	Из поэзии Д. Нацагдорджа	110
Ц. Тумэнбаяр	Уральская рябинушка	112
	Из современной монгольской прозы	114
<b>Новости научной жизни</b>		
	Конференция, посвященная Агвану Доржиеву (Санкт-Петербург, Россия)	120
	Конференция, посвященная эпосу «Джангар» (Урумчи, Китай)	123
<b>Обзоры и рецензии</b>		
	Обзор изданий на русском языке по монголоведению за 2006—2007 годы	126
	Рецензии	133
Некролог	.....	138
Summary	.....	140

## Из воспоминаний М. И. Клягиной-Кондратьевой \*

Мелитина Ивановна Клягина-Кондратьева вместе с мужем С. А. Кондратьевым была участницей ряда экспедиций Ученого комитета Монголии. По заданию Российской Академии наук она вела сборы монгольской фауны и флоры, проводила вместе с Сергеем Александровичем фотографии, обследовала встречавшиеся на маршрутах буддийские монастыри, проводила исследования по этнографии и день за днем вела дневниковые записи. Экспедиционные дневники М. И. Клягиной-Кондратьевой были опубликованы мной в разные годы в монголоведческих изданиях (см.: Из дневниковых записей. М. И. Клягина-Кондратьева. *1-я Кентейская (Ононская экспедиция)* // Российское монголоведение. Бюл. IV. М., 1996. С. 126—142; М. И. Клягина-Кондратьева. *Хангайская экспедиция 1928* // MONGOLICA-V. СПб., 2001. С. 125—156; Клягина-Кондратьева М. И. *Гобийская экспедиция 1929 г.* // Российское монголоведение. Бюл. V. М., 2001. С. 412—435).

На этот раз к публикации подготовлены записи из личного архива М. И. Клягиной-Кондратьевой, датируемые разными годами и сделанные в общей пронумерованной от руки тетради в коричневой дерматиновой обложке. (На обороте обложки — клеймо гос. фабрики «Светоч» им. Бубнова. Ленинград, Б. Пушкинская, 18. Есть и дата выпуска: 1935 г. Размер 14,5 см. на 20,5 см.)

Записи начинаются очень подробными воспоминаниями о первой встрече с Монголией. Наверное, в их основе могли быть дневники, которые Мелитина Ивановна всегда вела подробно и образно. Постоянным спутником Мелитины Ивановны был фотоаппарат. Он работал и на самом первом ее маршруте по Монголии. Безупречно выбранные кадры, отличная печать и их многолетняя сохранность живо иллюстрируют записи девятилетней давности. В тетрадь вклеено немало разных фотографий, позволяющих увидеть, как велика была любовь Мелитины Ивановны к стране, какие яркие впечатления остались у нее от путешествий, от жизни в столице, от встреч с людьми. Мелитина Ивановна предоставляет возможность узнать, как создавалась нынешняя Государственная монгольская библиотека, и испытать благодарность за ее важный труд по каталогизации массы книг, стекавшихся в это хранилище при Ученом комитете. Записи М. И. Клягиной-Кондратьевой поэтично передают яркие краски монгольской природы, открывают сокровенный характер монгольских кочевников, знакомят с соотечественниками, оказавшимися в ту пору в Монголии, вводят в круг друзей, рисуют далекие теперь и — увы! — не сохранившиеся картины жизни монгольской столицы.

Первые две, основные и самые пространные, записи датированы 1935 г., остальные сделаны в 1941-м. В лихолетье начала войны М. И. Клягина-Кондратьева вместе с мужем оставалась в Москве и, наверное, для душевного равновесия обращалась к памяти о событиях и встречах, случившихся в счастливые годы жизни и экспедиционных поездок-путешествий по Монголии. Эта страна обладает удивительным магнетизмом и надолго остается в сердцах людей, побывавших в ней хоть один-единственный раз.

Свои тетради-дневники Мелитина Ивановна передала, вероятно, предчувствуя скорую кончину, Н. П. Шастиной, дружба с которой длилась всю жизнь. В последнюю тетрадь после публикуемых ниже записей Нина Павловна вклеила записочку М. И.: «*В этом году (26 июля) мне исполнилось 74 года. Надо надеяться, что я скоро последую за С. А.*». После этой записки Нина Павловна сделала приписку: «*Это Мел. Ив. написала мне в разговоре в декабре 1970 г.*». Сюда же вложена бумажка — карточка размером в четверть тетрадного листа с вопросом: «*Как будет с бумагами С. А., если я скоро умру?*»

Дневники после кончины С. А. Кондратьева находились, как сообщается в Бюллетене Общества востоковедов при РАН, — у известного монголоведа Н. П. Шастиной и были переданы ею впоследствии Д. Д. Васильеву для подготовки к публикации». Избранные страницы из этих рукописных дневников готовились к изданию Д. Д. Васильевым вместе с И. В. Кульганек. Полностью дневники С. А. Кондратьева опубликованы стараниями петербургского монголоведа И. В. Кульганек в замечательной книге, изданной в серии «Архив Российского востоковедения» совместно с В. Ю. Жуковым и посвященной жизни, творчеству и научной деятельности в Монголии и России выдающегося представителя российской интеллигенции.

Дневники жены С. А. Кондратьева М. И. Клягиной-Кондратьевой и тетради с ее личными записями также хранились у Н. П. Шастиной. Она передала их мне вместе с нотными тетрадями С. А., когда я работала над своими полевыми материалами — народными песнями, записанными у монгола Г. Давааджия (см.: *Яцковская К. Н. 100 песен монгола Г. Давааджия*. М., 1979). (Нотные записи С. А. Кондратьева из этих тетрадей были использованы и частично опубликованы им в его книге «Музыка монгольского эпоса и песен» (М., 1970)).

Весь текст записей М. И. Клягиной-Кондратьевой публикуется с сохранением авторской пунктуации.

\* Публикация, введение, примечания К. Н. Яцковской.

7/X 1935

### Первая встреча

Об этой встрече я мечтала много месяцев — с самого отъезда С. в декабре. К весне начались хлопоты, волнения. Познакомилась с А. П. В. и его дочерью Н. А., хорошенькой молодой женщиной, с короткими вьющимися каштановыми волосами; она должна была ехать вместе со мной к мужу, торгпреду Б. Н. О. До последней минуты были задержки. Н. А. торопила: муж уже выслал за ней машину в В/удинск. У меня все вещи были собраны и, незапакованные, разложены по дивану и кровати. Взяты были билеты. Наконец в последний день я получила паспорт, визу, отпуск со своих служб; дома завязали вещи и в 6-м часу вечера, совершенно обалдев от всего этого, я очутилась на вокзале. Это было 26 июня 1926 года.

Ехали в мягком. В купе с нами были еще знакомые Н. А. супруги Михельман, ехавшие на Д. В. Оба небольшого роста, средних лет; она темноволосая, худенькая, фельдшерница; он полный блондин, видный банковский работник. Проехали Троице-Сергиево и Арсаки, с которыми у меня было связано столько поэтических воспоминаний. Но что воспоминация, когда я была вся в будущем! Все горело во мне нестерпимой жаждой скорее, скорее доехать, и суеверно я не давала себе вообразить эту встречу. Наутро пошли северные ландшафты, незнакомые мне. Ели, леса, поля, огороженные наискось поставленными жердями. Непривычно построенные избы. Самые станции — их названия — казались мне какими-то особенными: Буй, Котельнич, Свеча. Я ждала увидеть Уральский хребет, но гор не оказалось — дальние холмы у Свердловска никак не напоминали горы. Потом разостлалась Западно-Сибирская равнина с ее березовыми рошицами. В вагоне было нестерпимо жарко. Мы беспрерывно пили холодный чай, намешав туда варенья и выдавив сок апельсин, подаренных мне на прощанье одной из подруг. Все мои спутники уже бывали там, куда я ехала. Они говорили об общих знакомых, называли не известные мне фамилии, рассказывали о дорожных приключениях: поломки машин, снежные заносы, переезды через быстрые реки и т. п. Михельманы даже, по их словам, попали раз в лесной пожар и спаслись лишь благодаря находчивости шофера. Немало места занимали в этих беседах и всякие таможенные истории. Я жадно слушала все это, мало-помалу входя в новый для меня мир.

Одну за другой мы переезжали сибирские реки, но мне они не показались особенно широкими. Я все ждала тайги. Но ее не было. Посмотрев в ж.-д. указатель и обнаружив там станцию «Тайга», я решила, что тут-то тайга и начнется. Однако этого не случилось. Станция стояла на обширной поляне, и только на другой день поезд наш въехал в гущу лесов, и я увидела путевых рабочих в черных накомарниках. Вечером мы с Н. А. стояли в коридоре и смотрели в чернильно-темное окно. И она спокойно рассказыва-

ла о том, как изменяет ей муж в Урге и с кем именно. Спокойствие свое она объясняла тем, что это измена «временная», ввиду отсутствия жены, несерьезная. Я была поражена таким отношением к такому «ужасному несчастью», как я это себе представляла в то время, и с гордой радостью думала, что уж мой-то муж не так ведет себя. Н. А. напевала песенки, певшиеся, по ее словам, каким-то консулом, и мне на всю жизнь запомнилась одна, с пошлым мотивом и глупыми словами, но тем не менее милая мне навсегда именно потому, что я услышала ее в том поезде, когда ехала на встречу:

Горят закаты на склоне дня.  
Идут солдаты. Люби меня.  
Грустить не буду, любовь моя,  
Найдешь повсюду таких как я.

В нашем купе все чаще стали упоминать о Байкале, и бывалые спутники описывали мне его красоты. Приехали в Иркутск. Город лежал далеко от станции, на горе, и на склоне ее мне хорошо запомнились старинные дома с колоннами. Потом потекла бурная Ангара, с островками и крупными камнями, и наконец появились большие темные скалы, окружающие нежно-голубую легкую пелену Байкала. Я не отрывалась от окна, боясь упустить что-нибудь, но поезд целых шесть часов бежал по краю берега. Мы сходили на станциях, опять названия — Слюдянка, Лиственичная — казались мне новыми и сулящими новое, я изумлялась прозрачности воды. (4-ю страницу тетради с этой записью завершает маленькая фотография, сделанная во время пути на берегу Байкала, с вдающимся в его воды горным отрогом, с застывшими фигурами людей. — К. Я.). Пассажиры несли в вагон темные блестящие кусочки слюды и коричневых копченых омулей. Поезд нырял из норы в нору, и не менее привлекательна, чем голубое озеро, была крутая каменная стена, испещренная клочками мха, пучками травы и кустиков, прилепившихся к расселинам, стоявшая прямо за окнами вагона с правой стороны. Но вот отошла и она, Байкал остался позади, и поезд пошел по поросшей кустарником равнине, за которой вскоре показались холмы, на другое утро превратившиеся в высокие округлые горы, невиданные раньше и соблазнительные. Днем мы, проехав мимо множества каких-то зданий, окруженных соснами, остановились в В/удинске, и мы с Н. А. выгрузились на платформу, попрощавшись с Михельманами. Нас, вернее, Н. А. встретил какой-то ответработник, кажется Быков, и отвез нас на присланной из У.<sup>1</sup> машине к себе домой, где его жена, не особенно приветливая, но ничего себе дама, дала нам умыться и расположиться в их довольно пустой и неуютной квартире: видно было, что эти люди чувствуют себя тут «временными жителями» и стремятся обратно, поближе к центру.

Выяснилось, что мы тронемся в дальнейший путь только через два дня. Я очень этим огорчилась, каждый лишний час был невыносим для моего нетерпе-

ния. Делать было нечего. Мы с Н. А. ходили по городу. Он заинтересовал меня своей необычностью: крепкие тяжелые дома из толстых бревен, на улицах песок, в который нога уходит по щиколотку, вдали маяющие горы. Только базарная площадь с ее белокаменными «рядами» была совсем как в любом уездном городе средней России, и потому особенно странно было видеть на ней фигуры бурят в темно-синих халатах с бархатной оторочкой и шапках-конусах. Вечером город казался мрачным: окна прятались за крепкими ставнями, и на улицах было темно. В выходной день мы с семейством Быкова отправились на машине завтракать. Не знаю, что мы там делали, помню только, что пили чай в сосновом лесу за столиками. (Это было нечто вроде загородного сада); время тянулось томительно. Наконец, кажется, это было 2 июля, мы отправились в путь. Меня поразил вид автомобиля: легковой, он был загружен вещами. Тем не менее мы сидели, как полагаются, на сиденьях, но все порожки были завалены банками с бензином и тюками, так что двери не открывались, и чтобы попасть внутрь, надо было перелезть через вещи. Кроме нас с Н. А. (я по примеру ее оделась по-мужски: в штаны и сапоги, что, собственно, было ни к чему) в машине сидел какой-то молодой человек с портфелем и жена шофера с ребенком, немолодая некрасивая женщина. Странно было, что муж ее такой молодой и красивый. Это был первый из плеяды монгольских шоферов, с которыми я познакомилась. Н. А. знала многих из них, упоминала их фамилии, особенно знаменитых Коваленку и Пашу Бызова<sup>2</sup> (В начале 11-й страницы вклеена маленькая фотография загруженной машины с пассажирами на фоне низких покатых гор. Внизу подпись мелкими буквами: «4 июля. 3-й день пути». — К. Я.). Впрочем, наш шофер в противоположность упомянутым был скромн и ездил без отчаянности. Мы переправились еще у самого города через Селенгу на пароме и потом покатали по ровной степи, лишь вдали ограниченной холмами. Было жарко, пыльно, и я обрадовалась, когда, поднимаясь на первый дабан<sup>3</sup> (я впервые тогда услышала это слово), мы с Н. А. вылезли и пошли пешком по лесу, березовому и сосновому. Я дивилась желтым и оранжевым, новым для меня, цветам — сибирским жаркам. Проезжали через бурятские деревни. Кое-как сколоченные избы, загоны для скота, полное отсутствие зелени, огородов. Под вечер подъехали к Селенгинску. Этот памятный по декабристам город, собственно просто деревня, даже небольшая, и потому особенно странным казался здесь огромный белый собор, построенный поодаль от крайних домов. А дома, как и в В/удинске, тяжелые, крепкие, из огромных бревен. Ночевали в доме Лушниковых, одного из тех многочисленных Лушниковых, которые были когда-то столь известны в этом районе. Тут жили только старик с женой, горестно рассказывавшие о том, что единственный сын их, юноша, утонул в колодце. В нашей машине что-то испортилось, и это меня волновало, т. к. боязнь задержки все время

томила меня жестоко. Однако шофер наш справился с поломкой. Мы с Н. А. гуляли в сумерках, смотрели на дальние горы и скалы, окаймлявшие реку, и это был первый настоящий азиатский закат. Наутро выехали. Переправа через Селенгу оставляет желать лучшего. Когда я увидела паром — крошечный плот, я не могла поверить, чтобы на нем устоялся автомобиль. Однако шофер, к удивлению, въехал на него, и колеса стали как раз у края. Мы, пассажиры, кое-как примостились сбоку, и вот бурные мутные потоки Селенги понесли нас. Мы причалили к берегу много ниже, как отчалили, и я вздохнула с облегчением. Эта переправа показалась мне довольно-таки страшной. Потом опять, увязая в песках и томясь от жары, поехали дальше и примерно к полудню были в Троицкосавске. Этот городок был гораздо больше похож на обычные среднерусские, чем В/удинск и Селенгинск.

Домики в садах, провинциальные лица. Ничто не говорило о близости к Монголии. Мы позавтракали в одном из таких домиков — нечто вроде постоялого двора. Выяснилось, что у жены шофера нет документов, и ее вряд ли пропустят через границу. Шофер, волнуясь, куда-то ездил, а я страдала от новой задержки. К нам присоединилась еще пассажирка — молодая комсомолка с ребенком. Помню, мы долго сидели с ней на крыльце таможни — огромного старинного каменного здания. Я смотрела на Кяхту с собором и полуразрушенными каменными домами бывших чаоторговцев. Спутница моя ехала обратно в У. и рассказывала мне о своих семейных делах. Наконец мы погрузились. Жена шофера временно осталась. (Она приехала в У. через месяц, как я слышала.) Подъехали к границе. Небольшой домик. Военный. Просмотр наших паспортов занял очень немного времени. И вот мы въехали в Монголию. Первое, что я в ней увидела, это городок Алтан-Булак, в котором ничего особенно специфического не было. И все же дома здесь были немножко другие. Попадались китайцы, монголы. Здесь опять остановка у консула и в монгольском управлении, где визировали наши паспорта. К нам села еще пассажирка, деятельная женщина средних лет, и присоединилась еще машина, в которой ехали неизвестные мне люди. Наконец мы двинулись дальше уже по Монголии.

Вначале она не казалась мне особенно отличающейся от Бурятии, но очень быстро пейзаж стал меняться. Холмистая желтовато-зеленая степь. Дабаны круче. Быстро темнело, зажгли фары, и я удивлялась, как можно ехать ночью по таким дорогам — какие-то рвы, сосны. Машина, присоединившаяся к нам, уехала далеко вперед; но вот мы увидели у кучки домиков ее зажженные фары. Очевидно, она остановилась на «станке». Это был первый станок на тракте — поселок Дзунха. Мы тоже решили заночевать здесь. Домики в поселке были выстроены довольно примитивно — из бревен, обмазанных глиной, с плоскими крышами. (В нижнем углу 16-й страницы слева наклеена очень маленькая фотография этих домиков с плоскими крышами. Они на снимке стоят

почти вровень с пологой горой, вытянувшейся вдаль у самого горизонта. — *К. Я.*) Возможно, что это китайские постройки. Жители «семейские», т. е. переселившиеся из Забайкалья сибиряки-староверы. Странно было видеть здесь простых русских баб в ярких ситцевых сарафанах, высоко подокнутых спереди, завесках, бусах и повойниках. Помню одна показала мне красивый домотканый пояс. (Сбоку от текста на с. 17 по левому краю — черно-белая фотография двух женщин, одна повыше, с гладко зачесанными и собранными в пучок на затылке волосами, другая — с косами, уложенными на голове венчиком, спокойно позируют перед камерой. — *К. Я.*)

Станок, как и многие другие станки, виденные мною впоследствии на многоверстных трактах Монголии, представлял собой довольно просторную избу, в которой были устроены широкие нары, стоял длинный стол и лавки. Мы поужинали все вместе, на дворе при свете фар погуляли с Н. А. и улеглись спать в избе. Рядом на широких нарах. Все было для меня интересно, ново, все волновало. Утром снова сияло солнце, обещая жаркий день. Напились чаю. Наш шофер немного задержался, и вторая машина укатила вперед, увезя с собой одну из наших спутниц — энергичную даму. Мне жаль было отпускать ту машину, т. к. по неопытности я считала, что одни мы можем заблудиться или застрять в песках и т. п. Но спутники мои отнеслись к этому равнодушно, и я, конечно, молчала. Опять покатали мы вверх и вниз по желто-зеленым холмам, которые все росли. Встречались юрты, еще стада овец. Поднялись на дабан к р. Иро. Голубой лентой она вилась, слева уходила в высокие лесистые горы, справа терялась среди холмов. Переправились через нее на пароме. Паромщики-монголы в коричневатых халатах удивили меня тем, что головы у них были повязаны кусками грязнейших купальных полотенец европейского образца. Поднялись на большой дабан, поросший редким сосновым лесом, покатали дальше. Где-то на пути встретились белые субурганы, стоявшие рядом. Они поразили меня четкостью своих очертаний и белой прелестью на фоне зеленого травяного холма. Четыре раза в жизни я проехала на авто путь от Иро до Урги, но все же помню его не очень хорошо. Только самое общее осталось в памяти: волнообразный пейзаж, желто-зеленая окраска, пятна лесов на южных склонах, далекие призрачно-дымчатые хребты. В долине реки Хары были пашни, китайские и госпосевы. Тут было сравнительно много построек: домики, сарай, все примитивные, бревенчатые и шабареные, т. е. обмазанные глиной. На некоторых особенно крутых дабанах мы слезали, и я впервые увидела вблизи обо<sup>4</sup>, о котором знала из книг и по стихам С. Я тоже подняла камешек и бросила его на кучу камней. Проехали по какой-то болотистой равнине. Солнце уже клонилось к закату, и она изумрудно зеленела. Но вот, когда уже близился вечер, автомобиль наш въехал на небольшую возвышенность и вдруг круто повернул налево, на восток, и поехал по краю долины Толы. Справа открылась великолепная

цепь Богдо-Улы. Впервые я увидела эту гору, которую потом полюбила так страстно. Огромная, длинная, с мягкими очертаниями, до половины поросшая лесом, она лежала в величественном покое. Тогда она не произвела на меня особого впечатления. Тогда путь мой был долог, я устала от душевного волнения последних недель. Хуже того, и вся долина, широкая, с ее редко разбросанными юртами, речкой, вьющейся среди ив, взъерошенными кустиками ирисов и дэрсису<sup>5</sup>, с показавшимся вдаль городом, почему-то произвела на меня несколько удручающее впечатление, особенно голые холмы ее левого от меня (географически — правого) склона. Я подумала тогда: «Неужели я обречена жить здесь много лет?» Этой мысли я до сих пор не могу себе простить. «Обречена!» Что сказала бы я теперь если бы мне предложили «жить там много лет». Но оправдание в том, что я полюбила все это здесь на следующей день.

Мы подъехали к какой-то будке на окраине — это оказался пост. Вышедшие монголы посмотрели наши документы и пропустили нас. Мы въехали в город, уже погрузившийся в сумерки. Он ошеломил меня своей необычностью, которая даже показалась мне немного жуткой. Бесконечные серые заборы из шершавых лиственниц, за ними крыши домиков и белые купола юрт, жерди с их лоскутками и флажками. Кое-где вдаль золоченые крыши храмов, лай больших черных собак, необычные фигуры монголов, царивший надо всем особенный запах дунзы<sup>6</sup> и дыма — все это было новое, странное, требующее восприятия.

Все спутники мои направились к русскому поселку, где находилось полпредство, расположенному за городом, и намеревались завезти меня к С. Но где он? Судя по письмам, он жил либо у Всехсвятских, либо в школе, но шофер сказал, что он, кажется, переехал, а куда — не знает. Я взволновалась. Тут на одной из улиц, где заборы так близко подходили один к другому, что, казалось, машине невозможно протиснуться между ними, нас окликнул какой-то русский в чесучовом пиджаке. Оказалось, это знакомый Н. А. Он подсел к нам и (неразборчиво. — *К. Я.*) сообщил, что С. живет теперь в Учкоме<sup>7</sup> (в Урге знали все обо всех). Туда мы и направились. Я не была ни в чем уверена и тревожилась. Захотелось скорее добраться до С., и я отказалась от предложения Н. А., которая звала меня переночевать у ней (муж ее, по сведениям того же знакомого, еще не вернулся из командировки в Калган); и все же я невольно думала: куда меня завезут? Глупа еще была. Но вот мы обогнули длинный забор, граничивший с широким пространством долины, и въехали в «галь» — таможду. Это огромный двор с несколькими юртами, сараями и домиками. Шоферу очень не хотелось туда въезжать, т. к. был субботний вечер, занятия кончились и вещи наши могли задержать на целый день. Однако переговоры нашего встречного спутника с чиновниками увенчались успехом, и мы, въехав в восточные ворота, скоро и без всяких затруднений выехали через западные и сейчас же под-

катили к воротам учкомского двора, который был рядом. Ворота эти, как и все в Монголии, были темно-красные, с толстыми перекладинами наверху. Из ворот вышел пожилой монгол небольшого роста в ламском халате, худой, с добрым изможденным лицом. Как я потом узнала, это был учкомский сторож-дворник. Знакомый Н. А. вылез из машины, и, переговорив с ним по-монгольски, сообщил нам, что С. действительно живет здесь, и Цокто знает, что я должна приехать. Сейчас С. нет дома, т. к. он не ожидал меня так рано, тем не менее мне предлагается выйти. С некоторым недоверием я вышла из машины и попрощалась со спутниками. Цокто и знакомый Н. А. помогли мне нести вещи. Мы прошли по большому двору, в то время густо застроенному китайскими зданиями разного размера и вида; я плохо различала их в сумерках и от волнения. Подошли к дому совершенно необычайного вида. Нижний этаж его был скрыт за многочисленными столбами, подпиравшими террасу второго этажа. Мы поднялись по лестнице на террасу. Прямо перед нами на ней стояла деревянная юрта с дверью. Юрта слева соединялась небольшим крытым проходом со вторым этажом дома. Это был деревянный домик в 4 окна с наличниками и ставнями, ярко раскрашенными в синюю, желтую и красную краску, крыша была темно-красная, тесовая, полукитайского типа, двускатная, и над ней торчали две трубы. Дальше были крошечные сени. Потом я узнала, что в юрте и комнатах, выходящих окнами на юг, помещалась канцелярия Учкома и кабинет его руководителей. Мы вошли в сени и через них прошли в комнату с двумя окнами на север. Она была скудно обставлена. У окон небольшой столик. В углу скатанный войлок. Посередине простой деревянный стол, заваленный всевозможными предметами, среди которых я заметила хорошо мне знакомый серый старенький чемоданчик С. Тут я поняла, что С. действительно здесь живет, и сразу успокоилась. Русский, попрощавшись со мной, ушел. Цокто ласковой улыбкой жестами и непонятными мне монгольскими словами пытался объяснить, что «хозяин ушел, но скоро вернется». Это я в конце концов поняла. Вскоре он ушел и вернулся с огромным чайником, из которого тут же налил чаю в немый стакан, стоявший на столе среди коробок от фотопластинок, тетрадей, посуды и множества других вещей. Мне не хотелось пить, но это монгольское гостеприимство, впервые испытанное мною и особенно ласковость старика Цокто очень меня тронули и ободрили. Цокто ушел. Я осталась одна. Села на табурет перед столом и зажгла свечу, т. к. уже темнело. На окнах не было занавесок. За ними терраса шла узкая, как балкон. Мне не хотелось раскладывать вещи, переодеваться в свое обычное платье. Все казалось, что если С. нет, значит, я еще не совсем приехала. Ожидание казалось долгим. Наконец я раскатала войлок, лежавший в углу, и легла на него. Долго, очень долго лежала я так и неотрывно смотрела на свечу, горевшую на столе. Вокруг меня лежал незнакомый азиатский город. Я была одна.

С. не шел. С улицы раздавались разные звуки: лай собак, гудки автомобилей, низкое гудение труб из храмов, еще какие-то неопределенные шумы. Мало-помалу мною овладел страх за С. Было уже поздно. Часов 11. Куда он ушел? Где он? А вдруг его убьют по дороге в этом жутком темном городе? Неужели я так и не увижу его, проехав столько тысяч верст? К этому примешивалась сладость ожидания — а ведь я его все-таки скоро увижу, но эти мысли я отгоняла. Я, как всегда, предпочитала не облегчать себе в таких случаях неприятного чувства, а нарочно отягочать его, чтобы подкупить судьбу.

Мне послышались чьи-то тихие шаги на террасе за окнами. Я замерла. С. или нет? Потом кто-то тихо вышел в сени и подошел к двери. Она была заперта на крючок. Я уже знала сердцем, что это С., но не хотела верить. Потом тихий стук. Я вскочила и подбежала к двери. «Кто это?» Спрашивала я, хотя была уверена, что это С. Молчание. «Кто это?» Тихий, едва слышный ответ: «Это я». Я распахнула дверь. Это он стоял в темноте, почему-то на коленях. Я удивилась и тоже стала рядом с ним. Он не хотел входить в комнату, а я тащила его. Я не буду писать того, что он мне говорил. Наконец я увела его в комнату. Он не хотел показывать своего лица, сожженного недавней поездкой в Гоби. Я потушила свечу. Он говорил, что когда получил мою телеграмму из В/удинска, так обрадовался, что подарил Цокто, принесшему ее, несколько янчанов — серебряных китайских долларов, чему Цокто очень удивился. Говорил, что не ждал меня сегодня, иначе не ушел бы в гости и не стал бы там пить ликер. Все это были такие пустяки, а радость была так велика, что я еще не могла ощутить ее после того, как сердце так долго томилось разлукой. Мы сидели в темноте на войлоке. Среди беспорядочно разбросанных вещей, в маленьком домике, в далеком городе, затерянном среди азиатских просторов, вдали от родины, от родных, друзей, всей прежней жизни, и он, наклонившись ко мне, прошептал: «Так значит есть же счастье».

Так оно действительно и было.

Вот первая моя встреча.

28/ XI 1935

### Мой день шесть лет назад

Я опишу свой день в тот год. Не обязательно 28/XI 1929 г., т. к. того именно я, конечно, не помню, а в дневник смотреть не хочу (как и вообще когда буду писать здесь), и я опишу обычный день, характерный для ноября того года.

Я просыпаюсь. В моей комнате сумрак, т. к. ставни закрыты. Я лежу на деревянном диване, с ящиками внизу. На диване войлок, на нем большой новый спальный мешок из белой овчины, крытой темно-синей далембой, и мне в нем очень тепло. Диван занимает все пространство от наружной стены до перегородки, не доходящей до верха и отделяющей мою комнату, которая чуть больше двухместного купе в

международном вагоне, от коридорчика. Я смотрю на часы, висящие на гвоздике рядом со мной. Около 8-ми. Рядом с часами красивая Зеленая Тара в шелковой рамке, подаренная мне Ц. Г. Б.<sup>8</sup> (Почти всю левую половину следующей, 33-й страницы занимает фотография размером 9×12. Мелитина Иванова — на переднем плане справа внизу. Она сидит, вероятно, около дивана. Слева — занавешенное легкой тканью окно. Через него проходит солнечный свет, падающий на правую половину лица и плечо М. И., выделяющий мягкие складки платья. Под окном стоит монгольский сундук, расписанный национальным орнаментом. На его гладкой поверхности — раскрытая тетрадь, в изящном подсвечнике толстая свеча, ножницы, зеркало, другие предметы. На стене за спиной М. И., рядом с окном, две картины. На одной — монгольский пейзаж. М. И. смотрит прямо в объектив. Спокойное красивое лицо. Волосы повязаны шелковым шарфом или прикрыты тонкой вязаной шапочкой, низко опущенной на лоб. На ней платье из плотной ткани, сшитое в стиле 20-х гг. Снимок датирован ноябрем 1928 г. Сбоку в скобках уточнение: «Платье и комната действительны и для ноября 1929 г.». — К. Я.). Дальше некрашенная деревянная полка с книгами (Чехов, дневники Толстой, Chesterton, санскр. учебник и мн. др.) На боковой стенке ее, прямо передо мной, написаны карандашом для назидания мои любимые цитаты и изречения. Хлопает кухонная дверь, на дворе слышны шаги, стук дерева и железа — и вот поток света льется в комнату, проходя над перегородкой. Это Фу-Чин пошел открывать ставни. Он обходит вокруг нашего домика по деревянному тротуару, огороженному балясником. Вот он открыл обе ставни в комнате С., вот грохочет около моей, и вот все у меня пламенеет — свет проник сквозь оранжевую занавеску из китайского шелка. Я вылезаю из мешка, становлюсь босыми ногами на мягкую серую сарлычью шкурку, лежащую на полу. Отыскиваю широкие бархатные китайские туфли с загнутыми вверх носками, снимаю халат, висящий в моем примитивном «гардеробе»: с другой стороны окна, между стеной и круглой железной печкой, выкрашенной в цвет терракот, есть небольшое пространство, здесь вбиты гвозди и висят на вешалках с кукольными головками мои немногочисленные платья — будничное — серое фланелевое, черное бархатное, *deux piece* — юбка беж и пиджачок оранжевый клетчатый, бледно-зеленый вязаный костюм и немногие другие. Иду умываться в коридорчик. Здесь примитивный умывальник над тазом и ведром, раскрашенный цветами китайский столик в углу. Два деревянных сундука вдоль стены. Я беру с подоконника пасту и зубную щетку, заглядываю в окно, и острая радость пронизывает меня — я вижу Богдо-Улу. Окно выходит на восток, и я вижу только восточный конец хребта, но все равно, Богдо-Ула прекрасна отовсюду. Мощные склоны ее запущены снегом внизу, а вверху черно-сини от леса. Солнце встает, вот оно создало на гребне целое озерко из расплавленного золота, еще мгновение —

озерко иссякло, и над гребнем показался край огненного диска. Умывшись, я возвращаюсь к себе и причесываюсь перед своим «туалетным столиком», иначе — красным монгольским шкафчиком с золотыми узорами. Он стоит перед окном, вплотную примыкая к дивану, а левым углом почти касаясь печки. На нем утренний беспорядок: овальное бритвенное зеркальце, две оплывшие свечки в медных подсвечниках, желтая пудреница, Ганза<sup>9</sup>, ножницы, шаровидный флакон с темным *Chypr-om Coty* и т. п. С трудом причесываю волосы, которые нехотя отрастила по просьбе С. Надеваю серое платье, иду будить С. Он спит, тоже в спальном мешке на широкой деревянной кровати. Против нее огромный стол, заваленный всякими вещами: чернила, свечи с бумажными абажурами моей работы, коробки от пластинок, общие тетради, инструменты, книги. За столом на полу длинный ящик с книгами. На стене, у которой стоит кровать, — большая полка с книгами и картами. В простенке высокий некрашенный шкафчик со многими ящиками. Под окнами вьючные сундуки. У печки (которая соединяет комнату с моей) между нею и дверью красный с золотом монгольский шкафчик, на нем патефон. С трудом добудившись С., иду пить чай на кухню. Фу-Чин только что вернулся со двора, где вел переговоры с дровяниками-китайцами, я вижу, как один за другим подходят к дому верблюды, навьюченные дровами; погонщики развьючивают их и пилят дрова. Солнце горит на рыжей лохматой шерсти животных. Фу-Чин снимает чайник с белой печки-плиты, стоящей между окном и выходной дверью, (напротив фучиновой кровати) и ставит его на стол. Тут же, прямо на столе, ибо скатерти мы не заводили, расставлены китайские чашки без ручек и блюдец, хлеб, масло, копченый язык и т. п. Фу-чин идет в мою комнату растапливать печку, а я, сварив себе какао, сажусь его пить на свое постоянное место, между столом и стеной, напротив выходной двери. Слева от меня, до стены, большой черный рундук<sup>10</sup>; в нем наши экспедиционные одежды, а на нем всякие хозяйственные принадлежности, посуда, желтая банка с чаем *Lipton*, шоколадная с моим какао, огромный почти квадратный нож, которым Фу-Чин, как и все повара-китайцы, так ловко умеет резать мясо на мельчайшие кусочки. Мимо окна, прорезанного справа от меня в восточной стене, проезжает обледенелая бочка. Она останавливается у сени; входит молодой китаец с двумя ведрами воды. Он с шумом выливает их в бак из-под бензина, стоящий в углу. С., одевшись, присаживается к столу справа от меня. Я кончила свой завтрак, набиваю ганзу кенстином (*mild*) и покуриваю ее. Хлопает дверь, и входит А. Д.<sup>11</sup> Он в синей короткой куртке, меховой шапке с болтающимися ушами. Садится на кровать Фу-Чина, закуривает свою большую толстую ганзу и, перебирая крупные деревянные четки, болтает с С. об учкомовских делах, городских новостях, просит собраться у тех или иных знакомых в ближайшие дни. (В левом нижнем углу 38-й страницы — нарисованный от руки план дома, комнат с их

обстановкой. Он ориентирован по странам света, которые, соответственно, обозначены с четырех сторон рисунка. В начале 39-й страницы — фотография дома снаружи. Типичная российская деревенская постройка из бревен. С белыми ставнями. С резными наличниками на окнах. С близко поставленным к дому забором. Перед домом с угла стоит С. А. Кондратьев. В шляпе, в длинной кожаной куртке с меховым воротником, в сапогах. — *К. Я.*) Скоро 9. Я меняю туфли на валенки, надеваю свою старую шубу, шапку, забираю ганзу, кiset, ключи от библиотеки, кучку отработанных дома карточек и через сени выхожу на двор. Он очень изменился с 1926 года, когда я впервые его увидела, так сказать — «раскитаился». Исчезла двухэтажная вычурная библиотека Дарханвана, снесен сквозной китайский дворик, нет и того необыкновенного дома — на столбах и с деревянной юртой, в котором мы жили в 1926 и 1927 гг. Построены два больших деревянных дома — в одном научные кабинеты, другой пока пустует; белый дом в углу, поблизости от нашего, где живут Симуковы; сарай для всякого имущества, он же квартира учкомовского доджика (выносливой заслуженной машины, превращенной из легковой в грузовую и, соответственно, способной возить до 100 пудов по монгольскому бездорожью, прошедшей уже больше десятков тысяч миль по хангайским долинам, по гобийским пескам, по степной беспредельности; переезжавшей речки, влезавшей на дабаны, сползавшей с круч, выдавшей всякие виды, — для меня она почти живое существо), построены два шабареных дома для библиотеки и канцелярии, переделаны ворота. И все-таки двор совершенно монгольский. (Уголок просторного двора снят на фотографии, открывающей 41-ю страницу. Около двух «сарайчиков» — юрта. Рядом остановился бычий обоз. Около него стоят наблюдающие люди. — *К. Я.*) Кое-где, как белые толстые грибы, притулились юрты, остались и несколько китайских сарайчиков с темно-красными, чуть изогнутыми крышами; оградой по-прежнему служит все тот же шершавый хашанник, и все так же, величественная и спокойная, прекрасная и древняя, такая знакомая и всегда необычайная, высится вдали Богдо-Ула. Я иду по чуть запорошенному снегом просторному двору и смотрю на нее с радостью, нежностью, любовью, тоской, желанием уйти дальше, еще дальше за нее, куда — неизвестно, а также с тяжелым предчувствием, что скоро покину ее.

Я знаю, что лежит за нею; этим летом я проезжала по холмистым степям, потом по Гоби, но ведь это не все, за этим лежит еще столько невиданных земель, и мое желание, моя тоска перелетают через темный от леса гребень и несутся в «чудесные страны». (После этих строк на с. 42 вклеена фотография с видом на Богдо-Улу. Через ворота и над сплошным забором, огораживающим двор Учкома, видна эта гора с темными массивами леса на заснеженных склонах. «С севера, — как подписывает снимок М. И. — Южные ворота Учкома. Начало зимы». — *К. Я.*)

Я подхожу к своей милой библиотеке, к своему детищу, с радостью. Вхожу в сени. Слева дверь в во-

сточную часть, справа — в европейскую. Открываю замок. Зверский холод охватывает меня. Но за мной идет галчи-истопник, немолодой монгол с вечно подвязанной щекой, и растапливает печку. Иногда температура поднимается до того, что даже можно снять шубу или — чаще — накинуть ее на плечи. Я с гордостью оглядываю свою библиотеку. Из кучи ценных, но совершенно не приведенных в порядок книг я уже создала книгохранилище по всем правилам. Я применила свой девятилетний опыт, полученный в Ленинской библиотеке, отдала всю свою любовь к библиотечному делу и вижу плоды. Книги стоят в шкафах, они снабжены всяческими библиотечными знаками: печать, шифр, систематический знак, инвентарный номер, заведены книги инвентарная и топографическая, каталоги — алфавитный, систематический, отдельно — монголоведение. Я хочу закончить всю работу к 1 января и потому спешу, а работы много, помимо окончания каталогов надо записывать новые книги, писать просьбы и заказы на книги, выдавать книги читателям (правда немногочисленным) и принимать их; недавно купили небольшое собрание книг — и его надо включить; надо позаботиться о переплете. Я работаю усердно и с удовольствием. Изредка покуриваю ганзу. Изредка смотрю в большие широкие окна. Одно выходит на восток, вдали виднеются низкие снежные хребты; другое окно на юг, за ним все та же любимая Богдо-Ула. Ярко светит солнце. Небо синее-синее. Иногда кто-нибудь заходит. Нина Павловна<sup>12</sup> пришла переменить книги и рассказала последнюю новость. Ринчино, красивый юноша, точно сошедший с буддийской иконы, пришел посоветоваться насчет каталога в восточной части; Эрдем-Баир, умный приятный молодой бурят, посидел часа два — каталогизировал рукописные материалы. Забежал Гомбо-Джаб, элегантный молодой человек, бывший князь, способный и бойкий, рассказал несколько случаев из своей жизни в Париже, где он провел года три, и блеснул хо-рошим французским произношением. Впрочем, почти не бывает, чтобы за весь день зашло больше 1—2 человек. Иногда не бывает никого. Но мне не скучно. Я работаю с радостью, книги мне нравятся, я нежно взглядываю на Богдо-Улу, грею руки у печки. Бывают и тяжелые мысли в связи с моей личной жизнью (родители, С.), но об этом вспоминать не хочется. Раз в день я убегаю домой на 5 минут, предварительно заперев дверь, в кухне у нас уже вкусно пахнет. Фу-Чин, в белом фартуке, готовит обед. С. обычно нет дома, он в одном из кабинетов, или в городе, или у начальства. Но вот близится 2 часа. Я подвожу итоги своей дневной работы в дневнике, разграфленном на разные разряды. Столько-то книг внесено в инвентарь, столько-то каталогизировано, столько-то написано карточек, систематических и алфавитных, столько-то выдано читателям и принято от них. Перечисляются и все другие работы. К концу месяца я сведу эти данные в месячный отчет, к концу года — в годовой. Работа подвигается: к 1 января, безусловно, кончу, выполню свой план. Забираю с

собой пачку карточек, чтобы отработать их дома (иначе не успеть) и запираю дверь на замок. Иду домой. Снимаю шубу, мою руки, опять надеваю туфли вместо валенок, сажусь вместе с С. за стол, на котором уже стоят тарелки. Супа у нас не полагается, и Фу-Чин сразу подает второе, которое съедается с большим аппетитом. Мы едим втроем. Это либо кушоры<sup>13</sup> — жареные оладьи с мясом, либо пельмени с коричневым китайским соусом, либо кусок темной кабанины, к которому я открываю бутылку со сладким американским томатным соусом *catsup* (прозванным у нас «кошачий суп»), либо т. н. (по русско-китайски) «жар-мяс», т. е. мелко нарубленные кусочки мяса с луком, чесноком и еще какими-то Фу-Чину ведомыми приправами. Если суп и бывает, то это неизменно густейшая китайская лапша — гоми, бесконечно длинная, как пряжа. Овощи — их мало — картошка, китайская капуста, огурцы (редко). Иногда бывает сладкое — желе, которое я делаю, распуская в воде сухие американские кубики, или чудесные калифорнийские консервы *Del Monte* — персики, ананасы, груши. Пьем чай. Я рассказываю С. о своем библиотечном дне. Он мне о своих делах. Фу-Чин ест молча, но изредка и он подает реплики. После обеда все закуривают. У всех теперь свободное время. У Фу-Чина до ужина. У С. оно заполнено занятиями, но т. к. они добровольны, то это все равно свободное время. Мне надо еще написать карточки, но это я сделаю вечером. А теперь я хочу воспользоваться тем, что еще светло, и пойду в город. Опять надеваю свои валенки, шубу (новую яманью<sup>14</sup>), шапку (тоже новую, с верхом из голубой тибетской парчи, отороченную белками, убитыми Васей Марчуком, но плохо сделанную и потому нелюбимую), беру сумочку и по двору направляюсь к восточным воротам. Оглядываясь, вижу, что домик весь светится: дверь из коридорчика в мою комнату растворена и, т. к. окна друг против друга, свет проходит как сквозь окна вагона. Вообще наш домик напоминает вагон. И мал, уютен, тепел, но живем мы в нем словно едем куда-то; мы вечно готовы сняться с места.

Я выхожу за ворота и по узким улицам направляюсь к заходьру — базару. Снегу здесь совсем нет — ноги людей и животных, колеса машин и бычьих двуколок начисто его уничтожили, и мои валенки шуршат по твердой, как камень, желтовато-серой земле. Из-за угла кривой улочки раздается гудок машины, я прижимаюсь к темно-красным воротам в лиственничном заборе, над которым торчат шести и реют гирлянды с молитвенными флажками. В подворотне лежит большая собака. Я осторожно обхожу ее — весной одна такая укусила меня, и нога болела целый месяц. Навстречу мне идет лама в ярко-розовом халате, через плечо у него перекинут красно-коричневый плащ — орхимджи; рядом с ним молодой монгол в темно-синем халате и европейской фетровой шляпе. Сзади меня обгоняет другой лама, верхом, он в шубе, крытой лимонным шелком, и остроконечной шапке с развевающимися сзади

лентами. Как и все монголы, он сидит на своей низенькой горбоносой лошадке как будто небрежно — корпус вихляется, как-то скошен на сторону, зато ноги в пестрых гутулах<sup>15</sup> словно приросли к коню. Еще встречные — русская дама в яманьей шубке, китаец-рабочий в меховых штанах, заправленных в черные туфли, русский крестьянин-колониист в унтах и ватной куртке. Я прохожу мимо бесконечных заборов, мимо шабареных домиков — белых, желтых и розовых и наконец выхожу на площадь. Дорогу мне перегораживает бычий обоз. Он тянется, тянется, медленно шагают коротконогие быки, таща за собой нагруженные двуколки; надо бы перешагнуть через веревку, соединяющую каждую двуколку с мордой следующего быка, но я не решаюсь этого сделать; как-то раз летом я так попробовала перешагнуть и очутилась на земле в ободранном до крови локтем. Наконец обоз проезжает. Пожилая монголка в прическе рогами (это теперь редкость) покупает что-то у китайца-торговца, присевшего около лестницы, ведущей в Монценкоп, это большое для Улан-Батора, даже внушительное здание. С южной стороны квадратной площади — белая каменная аптека, по другим сторонам магазины и лавочки — государственные, частные, русские, еврейские, китайские. Тут собраны товары чуть ли не со всего света: голландское какао и швейцарский шоколад, цейлонский чай и английский табак, германские фотоаппараты и японские кимоно, здесь можно купить отрез оранжевой китайской *канфы* — поток пламенного шелка, бутылку французского ликера — сладкого, крепкого и душистого, пестрый американский джемпер, коробку русских папирос, банку варенья из Окленда. А кто «знает места» — достанет и кусочек черного контрабандного опиума. Я вхожу в Монценкоп. Молоденькая продавщица, белокурая татарка Ягудина с миловидным, но всегда сердитым лицом продает мне пару шерстяных и пару шелковых чулок, а ее сосед, медлительный монгол, отрезает по моей просьбе небольшой кусок голубого шелка с узором из цветов и меандров (я сделаю из него абазур для комнаты С. и подушку на свой диван). Иду дальше по площади, смотрю на витрины, заглядываю в китайские лавочки, где продают всякую мелочь, семечки, чашки, конфетки, китайское печенье на кунжутном масле; перехожу через мостик над вечно сухой Сельбой, захожу в китайскую фирму. Она завалена тканями, вышивками, за перегородкой хозяин пьет чай с покупателями, они курят очень длинные и тонкие медные трубки. Я покупаю цветочный чай в высокой цилиндрической банке с изображением девушки; это «хухен цай», а то еще есть «убугун цай», этот продается в четырехугольной банке с изображением старика-отшельника. Прихожу на самый заходьр-базар. Чего тут только нет. Мясные ряды, меховые ряды — снежно-белые овчины, серые яманьи шкурки, сарлычьи, беличьи и даже соболевы, мебельный ряд — низенькие раскрашенные цветами кровати, столики, которые у нас сочли бы за скамеечки для ног, шкафчики красные с

золотом или разрисованные пестрыми цветами, седла, гутулы, шапки; ближе к площади «галантерейный ряд». Над прилавками висят пестрые ленты, куски тканей, пояса, по полкам разложены мишурные брошки (молодые монголки прикалывают их на свои мужские фетровые шляпы), трубочные мундштуки, пестрые пуговицы — стеклянные в металлической оправе, на полу кучей лежат валенки. На углу сидит странствующий монах-нищий и монотонно поет. Я направляюсь к лавке тибетца. Хозяин темнолицый, в коричневом халате с огромным напуском отвешивает мне на маленьких весах кораллы. Товары у него, как и у всех соплеменников, дорогие и особенные: куски тонкой тибетской парчи с очень ярким золотом, раскрашенные деревянные лошадки, нефритовые мундштуки для ганзы, каменные табакерки — флаконом с красной крышечкой, похожей на пуговицу или крупную ягоду, медные чайники с чеканным узором, серебряные украшения для женских головных уборов, зеленоватая бирюза, ожерелья из разноцветных тяжелых камней. В прошлом году я купила здесь М. А.<sup>16</sup> брошку из розового коралла, она была похожа на большой волшебный цветок. Я возвращаюсь на площадь, покупаю в кондитерской шоколад Ганс-Петер для С., да и для себя и по (неразборчиво. — К. Я.) улице направляюсь домой. Я иду мимо лазурных дверей китайского ресторана; оттуда доносится стук ножей, возгласы китайцев-поваров, запахи кушаний; прохожу мимо русской гостиницы «Спартак». Никто не знает фамилии ее хозяина, его так и зовут Спартак, это человек с оловянными глазами, а жена у него еще молодая, но такая непомерная, что при виде ее вспоминаешь о допотопных животных; после сравнительно широкой [...ской] снова погружаюсь в лабиринт переулков; здесь уже сумрак. Прохожие встречаются редко, солнце сейчас сядет, и последние лучи его облили низкие снежные хребты на востоке потоком расплавленного золота. Передо мной над заборами высятся, как гигантский аметист, Богдо-Ула. Она вся пылает, фиолетовая, преобразенная. В этот час она всего прекраснее. Я люблюсь на нее с невыразимым чувством. Собаки уже начали свой концерт — лай раздается со всех сторон. Из-за хашана слышится низкое гудение — это лама поет басом молитвы; из-за другого — шаманский бубен, из домика, окна которого выходят на улицу, доносятся патефонные звуки фокстрота «*I love you, I love you, baby, but I'm afraid of you*». Эта пластинка была и у miss Lindgren, молодой высокой рыжеволосой американской шведки, влюбленной в меня. Я иду дальше. Солнце село. Звезды одна за другой загораются в прозрачном небе. Я прохожу мимо домика, где живут Тубянские, он стоит на пригорке, подхожу к южным воротам Учкома; мимо меня шагает караван; верблюды медленно, мерно ступают большими толстыми, как подушки, лапами (так!), длинные морды их качаются в такт шагам. Я не знаю, пришел ли этот караван или уходит вдаль, но хочу думать, что уходит, и сердце мое тянется за ним. Я вхожу в темный двор. Из Ган-

дана доносится низкое густое гудение труб в храме; кажется словно это ревет сказочное чудище; звук их волнует и манит. В нашем домике ставни уже закрыты, и щели света проникают наружу из комнаты С. В кухне Фу-Чин зажигает нашу необыкновенную «лампу»: это сооружение, сделанное им из проволоки, в него вставляется свеча, а я украсила его абажуром из желтого шелка, сборчатым, как юбка балерины. От этого свет в кухне мягкий. На столе лежит раскрытая китайская книга, но Фу-Чин сейчас не читает ее, он занят приготовлением ужина. Я прохожу в свою комнату, раздеваюсь, снимаю валенки, раскладываю покупки. С. зовет меня к себе и просит напечатать для него письма к наблюдателям метеостанций: в Хатхыл (у озера Косогола, чьи берега лесисты, а вода необычайного зеленовато-голубого цвета прозрачна, как воздух), в Удэ (на Калганском тракте, в пустыне, где все серо-желтое — песок, камни, земля), в Улясутай (городок с кучкой китайских домиков, китайским храмом и театром, китайскими огородами и голыми холмами вокруг, загораживающими покрытую вечным снегом вершину недалекого Отхон-Тэнгри), в Цецерлик-Мандал, иначе Цзаин-шаби (где монастырь Цзаин-Гегена расположился у подножья скал, покрытых гигантскими пестрыми фресками, изображающими будд и бодисаттв, где склоны гор зелены от лиственничных лесов, где речка Урту-Тамир бежит среди густой ивово-и тополевоу урёмы). Я снимаю чехол с машинки «Корона», которая пишет одними лишь заглавными буквами, и послушно стучаю под диктовку С. Кончив, иду к себе, зажигаю свечи и, приспособив к дивану табурет, пишу библиотечные карточки. Но вот и эта работа кончена. Я забираю полученные вчера номера *Graphic, Asia* и с ногами усаживаюсь на свой диван, опираясь на свернутый большим валиком спальный мешок. Блаженство читать о светской жизни в Лондоне и путешествиях по Индии, смотреть на фото актрис и герцогинь, замков в Швейцарии и Нью-Йоркских небоскребов, египетских пирамид и Джейпурских дворцов, когда живешь в Центральной Азии, в странном городе Урге, ныне Улан-Баторе, откуда до железной дороги 600 верст и попасть на нее можно либо на автомобиле, либо на верблюде, а если удастся, то и на самолете, когда знаешь, что вот тут за твоим домиком лежит Богдо-Ула, а за нею беспредельные пространства, текущие к Тибету, когда из-за ставен приглушенно доносится лай собак, гудки машин и рев монастырских труб, весь мир кажется тут и близким и далеким. Он далек, потому что добираться до него долго и трудно, он близок, потому что нет вокруг тебя стен как в европейском большом городе, отгораживающих тебя от мира каменной стеной своих построек. Ты чувствуешь землю, на которой стоит твой домик, и земля эта непрерывной связью соединяет тебя со всеми другими городами и лесами и деревьями, стоящими на ней.

Фу-Чин заглядывает в коридорчик: «Милисин Иван ужинать» (не умею передать, как он выговаривает трудное имя С.) Мы идем в кухню. Ужин при-

мерно такой же, как и обед. Заходят Тубянские или Симуковы. Мы разговариваем в комнате С., иногда играем во что-нибудь, как, напр., в «рассказы в 100 слов», или С. заводит патефон и мы слушаем Вагнера, Рахманинова, Шаляпина, Чайковского. И музыка тоже звучит здесь иначе, чем в Европе. Здесь, пожалуй, ее воспринимаешь хуже, или не хуже, а как нечто очень прекрасное, но совсем чуждое (зато как слушаешь пение старинных монгольских песен в горах и степи). Расходятся рано. Перед сном я, накинув шубу на плечи, выхожу на двор. Звезды, огромные, блестящие, лохматые от светлых лучей монгольские звезды сияют в небе, похожем на драгоценный камень. Голубой волшебный Сириус стоит над гребнем темной, массивной, как уснувший медведь, Богдо-Улы, выше раскинулся мощный Орион. Очень холодно, но воздух свежий и оживляющий как «живая вода» в сказках. В кухне Фу-Чин, склонившись над столом, читает свою китайскую книгу при свете желтой «лампы-свечи», но и он скоро ляжет, а С. говорит, что еще позанимается. Я моюсь, раздеваюсь и залезаю в свой спальный мешок. Я еще выкуриваю одну ганзу и немножко читаю путешествие в Китай Сосновского и Пясецкого (которые так забавно ссорились между собой), потом тушу свечу и засыпаю с чувством счастья, что я здесь, в этой любимой мною стране, что С. со мной, тут рядом, сидит у стола, заваленного разными вещами, пишет или думает. (После этой записи на с. 63 вклеена фотография С. А. Кондратьева, сидящего за своим столом и что-то пишущего. — К. Я.)

## 22/XI

Если это было воскресенье — тамошний выходной день, то в общем он проходил так же, только в библиотеку я не ходила, все же остальное — т. е. хождение за покупками, чтение и т. п. делалось в увеличенном размере.

Иногда мы ходили в гости. Семейных домов знакомых у нас было чрезвычайно мало, почти не было, в сущности. К Шастиным и Бадмажаповым нас обычно приглашали «всем Учкомом» (т. е. вместе с Симуковыми и Тубянскими). Обе эти семьи жили довольно далеко от нас, пожалуй, больше чем в 2 километрах. Жили они на самой окраине, недалеко от консульского поселка. Дома у тех и других по Урге считались роскошными, хотя по московским масштабам их можно было бы сравнить просто с хорошими дачами: это были одноэтажные деревянные дома по 6—7 не очень больших комнат. Семья Бадмажаповых была довольно пестрая. Глава ее — Цокто Гармаевич, забайкальский бурят, красивый, выше среднего роста человек, скорей не бурятского, а индейско-монгольского типа: чуть-чуть выдающиеся скулы, темный цвет лица, нос с горбинкой, очень красивые руки, бесстрастные, как на буддийской иконе, черты лица. Биография его мне лично известна лишь в очень кратких отрывках, но и они представляют немалый интерес.

В юности он участвовал в монголо-сычуанской экспедиции П. К. Козлова, и между прочим именно он открыл «мертвый город» Хара-хото, который впоследствии принес П. К. такую славу. П. К. предумышленно умолчал об этом как в письменных своих работах, так и в многочисленных устных сообщениях, а Ц. Г., живя в монгольской глуши, и не подозревал, какую славу получила его находка. Он узнал об этом, если не ошибаюсь, только в 1927 или 1928 г. и написал П. К. недоуменное письмо, на которое не получил ответа. Я знаю также, что Ц. Г. был некогда произведен в офицеры забайкальского казачьего войска и, видимо, играл какую-то роль в общественной жизни своей области. Так, например, он сопровождал бурятские делегации, когда они ездили к царю, и сохранил немало забавных и любопытных воспоминаний из придворного быта, которые я, к сожалению, позабыла. Ездил он также в Париж, куда сопровождал хамбо-ламу на буддийскую всемирную выставку. Хамбо-ламе Париж не понравился, и старик сиднем сидел в отеле, проводя свои дни примерно так же, как у себя в Гусино-Озерском дацане. Ц. Г. же бродил вместе с Бальмонтом по всяким значным местам. Знаю также, что Ц. Г. однажды «ездил с пером». Это требует пояснения. В Монголии лица, посылаемые с поручениями, напр. курьеры и другие командированные, едут по т. н. «дзаре». Это значит, что на каждом уртоне (станции) им по предъявлении соответствующего удостоверения («дзары») выдается свежая лошадь, вареная баранья нога, кумыс *quantum satis* и (ночью) ночлег в уртонской юрте. Но когда курьер посылается с особо спешным поручением, к шляпе его прикрепляется особое перо. Такие курьеры не ночуют в юртах. Они почти не едят и не пьют, чтобы не растряситься. Они едут день и ночь, конечно вскачь, и когда изматываются вконец, их привязывают ремнем к седлу, а очередной провожатый держит их коня в поводу. Так вот, Ц. Г. тоже проделал такой путь «с пером» что-то около 2000 верст и сохранил об этом самые скверные воспоминания. Добравшись до места назначения, он свалился замертво и спал много часов подряд.

Вообще за всю свою жизнь (когда я познакомилась с ним, т. е. в 1928 г., думаю, ему было уже за сорок) он проделал много тысяч верст и в вагоне, и на автомобиле, и верхом на верблюдах, так что под конец устал и уже ездил не дальше, как на свою дачу — усадьбу Суджи, расположенную километрах в 70 на С.-З. от Улан-Батора. Ездил он туда на своем плохоньком автомобильчике и говорил, что даже думать о верховой езде ему противно. Однако помню, что на Цаган-Сару<sup>17</sup> 1929 года он, по древнему обычаю, приехал к нам с визитом на коне. Обычно он одевался по-европейски, но на этот раз надел темно-малиновый теплый терлик<sup>18</sup> из китайской канфы (атласа), подпоясанный длиннейшим кушаком, и соболий малахай. Только сапоги на нем были русские. Надо сказать, что он представлял собой красивое зрелище. В обращении он был всегда спокоен, ровен, а разнообразные рассказы его с легким

оттенком юмора были очень занимательны. (К сожалению, я все это забыла.) Жена его, Ида Павловна, маленькая, черненькая, средних лет, но очень молодая немка из обрусевшей в Сибири немецкой семьи, представляла рядом с ним довольно разительный контраст. Некогда в юности она вышла замуж за русского, механика Балашова, и я не знаю, когда переселилась с ним в Ургу и жила в доме, который в свое время занимали Шастины и который, как я уже говорила, был напротив дома Ц. Г. От Балашова у Иды Павловны родились четыре дочки, не особенно красивые, но милые девочки (в 28 году старшие — Вера и Марина — были уже взрослые). Не знаю как, но у Иды Павловны начался роман с Ц. Г. Муж ее узнал об этом, и однажды Ида Павловна, вернувшись домой от своего возлюбленного, нашла мужа повесившимся. Ц. Г. поступил по-рыцарски и женился на ней, усыновив ее 4 дочек. Впоследствии от брака с Ц. Г. у нее родились еще трое детей — мальчик Гава и две девочки — Дэнсима и Деви. Эти дети, в противоположность старшим, были очень красивы. Когда я видела их, мальчику было 7 лет, а младшей девочке года полтора. Не знаю, насколько счастлив был этот брак. Ц. Г. азартно играл в карты, что очень тревожило его жену. Пил он тоже порядочно, но в Урге пили все, сама Ида Павловна в этом отношении не уступала любому мужчине, так что это вряд ли могло ее особенно беспокоить. Даже в ту пору (1929—30 гг.) карьера Ц. Г., такая блестящая ранее (он был советником у богдо-гегена, о котором рассказывал много забавных анекдотов, и занимал ряд крупных должностей в МНР), сильно пошатнулась. Однако в мое время видимость благополучия все еще сохранялась. Дом у них был обставлен в общем так же, как у нас до войны квартира интеллигентов средней руки, но некоторые вещи придавали ему особый, восточный колорит: например, буддийский алтарь в спальне. Ида Павловна, хотя и лютеранка, собственноручно меняла жертвы и зажигала лампы перед бурханами. Общество у них, как и всюду в У., собиралось пестрое. Помимо нас, учкомовцев, бывали Шастины, швейцарец Херинг — толстый техник кирпичного завода с красивой женой — молчаливой яркой блондинкой, мисс Линдгрэн, Шостакович, чрезвычайно некрасивый молодой человек, банковский служащий, отличающийся тем, что в пьяном виде имел обыкновение ловить арканом женщин на (неразборчиво. — *К. Я.*) улице; молодой монгол Хурлат, невзрачный маленький человек, обучавшийся в Германии и привезший оттуда жену, тоненькую немочку с пышными белокурыми волосами, очень легкомысленную и влюбленную в мисс Линдгрэн (впоследствии они разошлись, немка уехала в Германию, а Хурлат женился на старшей дочери Иды Павловны Вере Бадмажаповой); далее, бывал там Сергей Борисович Бадмажапов, пожилой, с длинными усами бурят, очень достойный на вид, похожий на болховского купца старого закала; бывал швед Мамин, седой, огромного роста человек, впоследствии, к общему удивлению, женившийся на *т. Л.*

(в 1930 году из У.-Б. в Пулково переслали билет, извещавший об этой свадьбе, состоявшейся в Париже: о, космополитизм!) Бывали и другие, которых не упомяну.

Мы, дамы, ввиду мороза, приходили в валенках и в передней снимали [их] и надевали туфли, принесенные под мышкой. Недолго сидели в гостиной, а потом переходили в столовую, где ждал обильный ужин — с традиционными пельменями, маринованной свеклой, фаршированными яйцами. Алкоголя было много, и дамы не уступали мужчинам; нас с Мел. Ал. Симуковой обычно сажали по бокам от хозяина, сидевшего во главе стола, т. к. он питал к нам обоим платоническое расположение. Однажды целый ужин интриговал меня и всех тем, что преподнесет мне в подарок. Никто не мог угадать, что именно и, наконец принесли прекрасное изображение Зеленой Тары, которая до сих пор висит у меня. Я была очень тронута этим подарком. Ужин проходил интересно, т. к. хозяин занимал всех самыми разнообразными анекдотами из своей многогранной биографии. Потом переходили в гостиную, где танцевали фокстрот под патефон; после чего снова шли далеко-далеко по сухой пустынной Урге: мороз, огромные звезды, Сириус над Богдо-Улой, лай собак, монастырские трубы, успокоение в крошечных комнатах домика.

У Шастиных вечер проходил примерно так же, но разнообразился гитарой и песнями дяди Миши — старого холостяка, прижившегося в семье своего брата доктора П. Н. Шастина. Помню песню, которая мне очень нравилась:

Завела я любовничка,  
Канцелярского чиновничка,  
Я любила его, гладила,  
Волосы ему помадила,  
От моей ли невозможности  
Отходил дружок от должности...

Сам старик П. Н. был прелестный, очень душевный человек, жена его, Мария Игнатьевна, нравилась мне меньше. Старший сын его, Николай, молодой доктор, был женат на довольно красивой женщине, Тамаре Николаевне Яценко, родившей от него сына Павлика, но явно не любившей мужа и флиртовавшей с другими. Единственная дочь их Нина Павловна, неглупая образованная девушка, не сумела устроить свою личную жизнь, что было очень грустно. Три других сына в это время жили в Ленинграде.

Еще мы с С. бывали у бухгалтера Монценкопа Гаврилова, да и то потому, что у него были чудесные пластинки. У Всесвятских, хотя они и были самые давние знакомые, не бывали совсем. Т[аким] обр[азом] можно сказать, жили довольно заединенно.

По субботам те же лица, т. е. учкомцы, Нина Павловна, да изредка какой-нибудь другой мужчина бывали у нас. Тут вечер проходил всегда одинаково. Фу-Чин готовил винегрет с провансалем. Подавались водка и чай. За столом оживленно болтали, пели квартеты, сочиненные С. (пели С., я, Мел. Ал. и

А. Д.), потом переходили в комнату С. и там слушали пластинки нашего патефона, тоже разговаривали и, конечно, флиртовали немножко. Все-таки надо сказать, что во всех этих вечерах был какой-то особый колорит по сравнению, например, с московскими. Это объяснялось, конечно, тем, что жили мы все в Ц[ентральной] Азии, и во все наши разговоры вплетались всевозможные монгольские темы. Кто-нибудь из присутствующих обязательно говорил или о своей экспедиции, или о том, что на днях поедет, например, в Цзаин, или о том, как недавно ездил в Улясутай или в Гоби; передавались разные местные новости, и т. п.

И всякий раз, как, бывало, выйдешь подышать свежим воздухом, на юге возвышался огромный темный могучий силуэт Богдо-Улы, а над ним сиял голубой чудесный Сириус и манил еще дальше, еще дальше, куда-то, не знаю куда, в «чудесные страны».

### О различии между «чатна» и «болна»<sup>19</sup>

В бытность мою в Монголии я живо интересовалась местной архитектурой. Во всех экспедициях я подробно осматривала большие и малые монастыри (архитектурные объекты кочевой Монголии находились только в немногих ее оседлых пунктах — монастырях), делала заметки, примитивные планы; С. фотографировал по моей просьбе наиболее интересные здания. Плодами этого изучения были: 1) очерк «Монастырь Бревен хит<sup>20</sup>», 2) «Отчет», посланный мною в 1929 г. в Академию наук СССР, и статья под заглавием «О юртообразных зданиях Внешней Монголии». Эта последняя была напечатана в журн[але] изд[ательства] Ака[демии] наук (Советская этнография. 1935. № 3). Лето 1929 г. мы почти целиком провели в городе, не считая месячной поездки в Гоби, и я посвятила часть своего свободного времени изучению одного из Улан-Баторских монастырей — Цзун-Хуре (Да-Хуре). В нем было много образцов, [рассказывающих об] эволюции юрты и превращении ее в архитектурный объект — здание, и собранные мною там материалы легли в основу упомянутой статьи. В Цзун-Хуре я обычно ходила вместе с Н. П. Шестиной (интересовавшейся монгольской этнографией и написавшей несколько статей о цаме, монгольском театре и др.). Шли мы туда чаще всего во второй половине дня, когда спадала жара и косые тени ложились на твердую пыльную землю. Мы бродили по обширной территории монастыря, осматривали и описывали храм за храмом. Иногда фотографировали. Я набрасывала примитивные планы в блокноте, измеряя расстояния шагами. Иногда мы присаживались отдохнуть на ступеньках у входа в какой-нибудь храм и, конечно, смотрели вдаль на громадную спокойную темно-зеленую Богдо-Улу. Было тихо. Желтым огнем горели медные и золоченые толи<sup>21</sup>, чжалцаны<sup>22</sup>, статуи «оленя и лани» на храмах; откуда-то издали иногда доносились пение лам, похожее на гудение гигантских шмелей, бой мо-

литвенного барабана или трубный звук, а то и просто собачий лай. Но тишина поглощала все эти звуки.

Ламы к нам привыкли. Изредка они заговаривали с нами, но чаще не обращали на нас внимания. Прислужники-сторожа всегда охотно отворяли для нас свой храм, если он был заперт, зная, что получают на «чай» несколько «мунгу»<sup>23</sup>.

(Нет, не воссоздать мне сейчас, спустя почти 12 лет, «аромата» этих покойных закатных часов; не представить себе этого мягкого желтого света, этих ярких чистых красок, этого запаха пыли, дунзы (табака), старых шелков в храмах, курительных свечей и тлеющей сухой арцы (можжевельника). Все это ушло безвозвратно.)

Однажды мы присели отдохнуть на какие-то бревна. Кажется, тут поблизости строилась деревянная юрта для изготовления «балинов» — жертвенных фигурок, вылепленных из коровьего масла. Вокруг нас собралось несколько лам. Завязался разговор, довольно примитивный, т. к. обе мы очень плохо знали монгольский язык. Один лама, немолодой, тощий, некрасивый человек все время обнимал и ласково поглаживал по спине юношу — хуварака (послушника), с глуповатым хорошеньким лицом. Кто-то из лам, указывая на них, сказал: «Это его жена (о молодом)». Я — не знаю зачем — напустила на себя строгость и, желая сказать «этого нельзя» (т. е. нехорошо, не следует делать) произнесла «чат-уге». То была грубая ошибка; мне следовало сказать «Бол-уге», ибо «чат-уге» значит «невозможно» и я, таким образом, отвергла возможность того, что один лама может быть «женой» другого. На мою обмолвку ламы громко расхохотались и уверенно, даже радостно заорали «чатна-а! чатна-а!» (т. е. возможно, вполне возможно!). Посрамленная, я сочла за лучшее удалиться вместе со своей спутницей.

Так окончилась эта краткая встреча лицемерного Запада с непосредственным Востоком. Впрочем, она не помешала нам с Н. П. продолжать наше изучение монгольской архитектуры. Наша западная «pruderie» к тому времени давно успела растия.

В том же, 1929-м, году мы, как я уже говорила, совершили небольшую по времени (конец мая—начало июня, в общем около месяца) и порядочную по количеству пройденных километров экспедицию на автомобиле (заслуженном учкомовском доджике) в Гоби. Примерно треть пути мы ехали по накатанной дороге, — Калганскому тракту, по которому быстро добрались до Удэ — пограничного пункта. Затем, вернувшись назад, свернули на юго-запад и тоже примерно треть пути проехали совершенно без дорог. Тут было все: и пески, и солончаки, и болота, и безводные колодцы, и жара, и холод, и нестерпимые ветры, и божественные тихие ночи пустыни. Под конец мы перевалили через хребет Гурбан-Сайхан и остановились в монастыре Байшинту, неподалеку от границы с Внутренней Монголией. Оттуда возвращались в Улан-Батор, по прямой почти линии с юга на север, и частью тоже без дорог, частью руководствуясь двухлетними следами автомобильных шин:

за два года перед тем, весной, когда оттаявшая земля была мягкой, по этому направлению везли какие-то грузы из Внешней Монголии во Внутреннюю. Весь бензин, потребный для путешествия, пришлось взять с собой, т. к. никаких бензиновых станций в этих районах не было, и под конец запас истощился. Помню, в последний день перед возвращением в город наш шофер, великий мастер своего дела, эстонец Эльмар Кейф пользовался каждым пригорком, чтобы спуститься на «казенный счет», т. е. с выключенным мотором, выражая опасения, что мы застрянем в Толе; он просил дать в долг хоть галлон бензина у каких-то встречных уже под самым Улан-Батором (они отказали) и торжествуя остановил машину на Учкомовском дворе в тот момент, когда сгорела последняя капля бензина.

До Байшинту мы везли с собой студента-монголоведа Ленинградского университета Пучковского. Он должен был год пробыть в Байшинту, где устраивалась новая метеорологическая станция, и быть в ней наблюдателем. Согласился он на этот «подвиг» (с точки зрения многих) с целью усовершенствовать свое знание монгольского разговорного языка, т. к. ему предстояло общаться с одними лишь монголами. Русских там не было. ... Это был очень худой, даже истощенный молодой человек в очках, чрезвычайно интеллигентного вида. И довольно своеобразный внутренне, как слышала. Сама я его мало знала.

Мы везли с собой все оборудование мет[ео]станции на нашем вместительном доджике, вместившем на сей раз, помимо своего месячного бензинового пайка, 6 человек с их личным и научным багажом и ... упомянутое оборудование, в том числе 2 больших столба для дождемера и флюгера, укрепленных по бокам кузова, выше не отпиравшихся дверец, и очень мешавших мне и моему соседу Эльмару влезать на наши шоферские места. Приехав в Байшинту, приборы метеостанции начали устанавливать неподалеку от монастыря, с севера. Байшинту — большой монастырь «южного» типа (по своей внешности). Храмы у него в китайском стиле, лишь слегка смешанным с тибетским. Кельи лам построены из сырцового кирпича, с плоскими крышами. Дворы ограждены глинобитными или тоже кирпичными стенами. Деревя в постройках очень мало. Здесь оно дорого. Говорят, что в Гоби деревянная дверь для юрты стоит дороже всей юрты, и тут нередко встречаешь «двери» из стеганого войлока. Пучковского поместили в домике из сырцового кирпича совершенно кубической формы. В нем были комнатка и чулан, слабо освещенные крошечными окошечками. Никакой мебели, кроме «кана», конечно. Тут Пучковский прожил целый год. Не знаю, что он извлек из этой своей жизни, т. к. видела его после этого лишь раз, и то мельком. (Я бы извлекла многое, будь я мужчиной, и потому очень завидовала ему, уезжая.) Каждый день он 3 раза в сутки ходил делать наблюдения на мет[ео]станцию. Что он видел? На сев.-востоке хребет Гурбан-Сайхан. На сев.-западе очень далекие призрачные горы. На юге китайские

крыши храмов, плоские крыши келий в монастыре. За ним — пустыня. Вокруг — солончаковое болото. Ни деревца. Ни кустика. Где-нибудь на горизонте стадо или одинокий всадник. Вечером небо пламенело на западе, в розовой дымке — на востоке. Ночью огромные лохматые блестящие звезды и темное-темное небо. Пустыня. А люди? Какие они были там, я не знаю. Пучковский, кажется, не дружил с ними. Он жаловался потом, что его ущемляли в отношении пищи, что ламы будто бы обвиняли его дождемер и флюгер, если наступала несвоевременная засуха или если песчаные бури превосходили норму («дождемер впитывает всю воду с неба, флюгер притягивает ветер»). Он рассказывал одному знакомому и такой случай. Подавленный одиночеством, он влюбился в красавицу-монголку из айла, кочевавшего неподалеку. Она казалась ему чем-то прекрасным, и любовь его носила главным образом романтический характер. (Надо думать, что телесный элемент в ней также присутствовал, но, м. б., влюбленный и не осознавал это). Однажды он, после долгих колебаний, решился объясниться ей в любви. Объяснение шло на монгольском языке, но в европейском стиле. Т. е. выражались восхищение, и преклонение, и высокие чувства и т. п. Красавица молча слушала, покуривая длинную ганзу (трубку), и наконец, когда влюбленный умолк, изрекла: «табу янчан» (что значит «5 янчанов — серебряных китайских долларов»). Молодой человек упал с неба на землю. В рассказе своем впоследствии он забыл отметить, воспользовался ли он предоставленной ему возможностью или сохранил 5 янчанов для удовлетворения других потребностей.

И все-таки нечто ценное, видимо, нашел там и он. Он рассказывал впоследствии, что долго и страстно ждал, чтобы за ним приехали, когда подошел назначенный срок; и вот когда вдали на Сев.-Западе показалась темная точка, спускавшаяся со склонов Гурбан-Сайхана, он испытал бурное волнение, догадавшись, что это учкомовский автомобиль. Но когда тот же доджик повез его на север и с тех же скатов Гурбан-Сайхана он оглянулся назад, на серо-желтый Байшинту, затерянный в серо-желтой пустыне, он почувствовал, что лишается, а м. б., и по своей вине, чего-то очень большого и прекрасного, что никогда уже не придет к нему вновь.

Все это я передаю с чужих слов и, м. б., неточно. Но так я представляю это себе.

1941

### Еще одна обмолвка

Вышеописанное недоразумение с «чатна» и «болна» напомнило мне и такой случай. В Учкоме работал один бурят — Ринчино Бимбаев, в те времена юноша дивной красоты, казалось, спустившийся в наш невзрачный мир с буддийской иконы. Идеально правильное овальное лицо, светлая кожа, длинные глаза, тонкие прекрасные, как, впрочем, у всех монголов, руки. При этом он отличался свойственной большинству монголов медлительностью. Он довольно хорошо го-

ворил по-русски. Однажды у нас на кухне он в присутствии нескольких учкомовцев и других (в том числе дам) стал рассказывать какую-то монгольскую сказку. Дойдя до места, где герой сказки начал мочиться (подробность, которую нельзя было опустить, т. к. она имела существенное значение в развитии сюжета), Ринчино остановился в затруднении, подыскивая наиболее «мягкое» русское слово для обозначения этого действия. «Он начал... он начал...» и наконец, вспомнив, произнес: «Он начал с...». Общество замерло. Бедный Ринчино, отыскивая наиболее «мягкое», по его мнению, русское слово, произнес наиболее грубое.

1941

### О монгольских шоферах

Эта тема так обширна и увлекательна и я столь неспособна развить ее, что здесь хочу только упомянуть о ней, выразив сожаление, что не нашлось бытописателя для того, чтобы изложить все увлекательные приключения монгольских шоферов, не нашлось поэта, чтобы воспеть романтику этих жизней, проведенных в поисках новых путей.

Дороги, дорожные встречи и события — об этом так много говорили и рассказывали в Монголии, и я, как нерадивый раб, не записывала этого, и пропало даже то небольшое, что могла бы сохранить я.

Я опушу здесь рассказ о шофере, который 3 дня сторожил машину с ценным грузом среди снегов, под вой окружавших его волчьих стай, а потом, спасенный другой машиной, был привезен домой в бреду и в жару и умер через 2 дня. Последние его слова, обращенные к жене, были: «Береги мотор», а когда его хоронили, все улан-багорские шоферы провожали его на своих машинах и прогудели ему прощальный салют, когда его опускали в могилу. (Я не говорю об этом подробно, т. к. изложила это несколько лет назад в беллетристической форме, но неудачно).

Упомянутый Эльмар Кейф отличался главным образом своим мастерством. Он спускался по таким перевалам, по каким и каравану нелегко было бы спуститься. Другой славный мастер был Коваленко, но тот грешил чрезмерным пьянством и однажды в Кобдо учинил скандал на улице в совершенно голом виде. Его со скорбью выгоняли из учреждений за этот порок, потом прощали и принимали за мастерство, потом опять выгоняли. О другой знаменитости, Паше Бызове, говорили, что он пьет водку, только если у него нет денег, а когда они есть — пьет чистый спирт. Однажды мне довелось повидать эту легендарную личность. Это было в Улясутае. С. послал меня зачем-то к местному «ресторатору», державшему нечто вроде табль-дота для проезжих и носившему драгоценную фамилию Топал (некто среднее между «опал» и «топаз»). Мне сказали, что хозяин в домике во дворе. Я прошла в маленький китайский домик с окном, «меандровый» переплет которого был затянута промасленной бумагой. Хозяин, старый толстый человек с большими усами, похожий не то на еврея, не то на грузина, сидел у окошка, а на кане

полулежа расположился огромный парень, чуть-чуть навеселе, с крупным добродушным довольно красивым лицом. В руках у него была мандолина. Он встал и очень вежливо попросил меня присесть. Хозяин представил его. Мне захотелось познакомиться со знаменитым шофером, я села и закурила, не отказавшись от предложенного угощения в виде рюмки водки с консервами в качестве закуски. Завязался разговор. Не помню его в точности. Запомнилось только, что Паша Бызов рассказывал, как он 3 раза переезжал русскую границу тайным манером за одну ночь. (Это было в давние годы, кажется в 18-м или 19-м, когда граница охранялась не так, как теперь.) Решил он «перекочевать» в Монголию; собрался, сел в машину (вероятно чужую, а м. б. и свою) и поехал ночью. Переехал благополучно. Но дома, в забайкальской деревне, у него осталась «мамочка» (т. е. девчонка). И вдруг жалко ему стало ее. «А ну возьми ее с собой». Повернул обратно. Переехал. Среди ночи въезжает в деревню, стучит в окошко, вызывает «мамочку». «Поедем, Ньюра» (а м. б. Клаша, не помню уж, как ее звали). «Поедем». Посадил ее в машину. Покатали. Опять благополучно.

Остального не помню. Да и все это субъективно, м. б., очень мало интересно. А многое интересное растаяло в памяти.

1941

### Птичка-ржанка

Помню, где-то в Хангае я отошла недалеко от лагеря, села на пригорок. М. б., закурила, м. б., так сидела, глядя на окрестные пологие холмы, серо-желтые, покрытые низкой осенней травой. И вдруг увидела птичку. Такой я еще не видывала. Она была тоже серо-желтая, как и все вокруг, и ножки у нее были очень высокие и тоненькие. Она совсем не боялась меня, а м. б., просто не замечала и все ходила и ходила сажень в двух от меня; то клевала что-то носиком, то поворачивала головку, то опять ходила. А я мучилась. Мне казалось, что это особенная птичка, и надо обязательно сказать С., чтобы он убил ее для коллекции. Но было очень жалко. Так я колебалась долго, а птичка и не думала улетать и все ходила. Наконец, «интересы науки» превозмогли. Скорее — интересы С., так как мне пришло в голову, что, м. б., эта птичка какой-нибудь совершенно новый вид, который прославит С. или что-нибудь в этом роде. Я пошла в лагерь. С. взял ружье и вернулся со мною на пригорок. Птичка по-прежнему беззаботно ходила на своих высоких ножках по низкой траве. С. убил ее. Мне было очень неприятно, но «интересы» и т. д. Не знаю, насколько интересной она оказалась. Во всяком случае, это был не «новый вид», а известная миру «ржанка», и С. она не прославила. А маленькая доверчивая жизнь погибла. Положим, через год-два она все равно погибла бы естественной смертью, но все-таки.

Вообще если подумать, то мы, люди, м. б., зря убиваем столько живых существ. Вот я всегда ин-

стинктивно противилась охоте и не хотела ходить с ружьем и убивать зверей и птиц. И мне противен был вид окровавленной убитой дичи. Однако с каким удовольствием я ела эту самую дичь, убитую другими. А сама я: сколько тысяч «клопов» — моих *hemiptera-heteroptera* — я убила, засадив их в банку с цианистым кали на дне! И это я делала без всяких угрызений совести. М. б. потому, что самое убийство было какое-то непротивное — бескровное. Я просто сажала эти прелестные желтые, зеленые, коричневатые маленькие существа в их стеклянный застенок, и они там бесшумно умирали, даже не на глазах у меня, в недрах кармана моих штанов, пока я ловила сачком новую порцию их собратьев. А ведь это тоже жизнь. Не все ли равно, что они такие маленькие, а лось, или изюбрь, или человек такие большие. Одни кричат и борются, другие молчат и, по слабости, не могут бороться. Вот и вся разница.

### Примечания

1. У. — Урга (Улан-Батор), столица Монголии. Мелитина Ивановна часто называла ее по-старому.
2. Ниже в этой же тетради Мелитина Ивановна несколько страниц заполнит рассказом о монгольских шоферах.
3. Д а б а н (монг. *даваа(н)*) — перевал.
4. О б о (монг. *овоо(н)*) — ритуальное сооружение, пирамида, обычно насыпаемая из камней на перевалах, вершинах почитаемых гор; посвящается духам местности, гор. Иногда обо венчает в центре деревянный шест или ветка дерева, на которые привязываются символические лоскутки материи или маленькие флажки. По обычаю путник спешивается перед обо и кладет в пирамиду свой камень.
5. Д э р и с у (монг. *дэрс(эн)*) — чий блестящий.
6. Д у н з а (монг. *дүнс(эн)*) — трубочный табак, который обычно курят монголы.
7. У ч к о м — сокращенное русское название первого монгольского научного учреждения (монг. *Судар бичгийн хрээлэн*).
8. Ц. Г. Б. — Цокто Балданжапов.
9. Г а н з а (монг. *гаанс*) — курительная трубка.
10. Р у н д у к — род ларя, крытой лавки с подъемной крыш-кой.
11. А. Д. — Андрей Дмитриевич Симуков (1902—1942).

И, м. б., единственное наше оправдание, нет не оправдание, а искупление нашего многократного греха уничтожения жизни, в том, что сами мы обязательно будем убиты, кто упавшим камнем, кто ба-циллой, т. е. также живым существом, неизмеримо меньшим, чем самый маленький *heteroptera*, и все-таки наделенным силой отомстить за убийство дру-гих живых существ.

\* \* \*

На этом размышлении заканчиваются воспомина-ния о днях, прожитых в Монголии, записанных М. И. Клягиной-Кондратьевой через много лет.

В заметках об оплошности в употреблении ино-странных слов фигурируют имена известных впослед-ствии ученых — Л. С. Пучковского (1899—1970), мон-головеда — историка и текстолога, а также монголь-ского академика и писателя Б. Ринчена (1905—1977).

12. Н и н а П а в л о в н а — Н. П. Шастина (1898—1980).
13. К у ш о р ы (монг. *хууцуур*) — род жареного пирожка с мясом.
14. Я м а н ь ю (от монг. *ямаа(н)*) — козью (шубу).
15. Г у т у л ы — монгольские сапоги с загнутыми сверху носками.
16. М. А. — Мелания Алексеевна Симукова, жена Андрея Дмитриевича.
17. Ц а г а н - С а р а (монг. *Цагаан Сар*) — букв.: Белый ме-сяц, первый весенний месяц; по лунному календарю ново-годний праздник.
18. Т э р л и к (монг. *тэрлэг*) — легкий летний халат. (М. И. Клягина ошиблась в монгольском названии зимне-го халата — дэли. — К. Я.).
19. «Ч а т н а» и «б о л н а» (монг. *чадна* и *болно*) — мочь, уметь; можно, допускается.
20. Х и т (монг. *хийд*) — монастырь.
21. Г о л и (монг. *толь*) — зеркало, зд. зеркалообразные кру-ги на крыше храма.
22. Ч ж а л ц а н (монг. *жалцан, жанцан*) — символ победы (религ.)
23. М у н г у (монг. *мөнгө*) — монета; 100 *мөнгө* равны 1 *туг-рику*